

18+

Олег Кокин

Приключения Фора и Сандра



Олег Кокин

Приключения Фора и Сандра

«Издательские решения»

Кокин О. Н.

Приключения Фора и Сандра / О. Н. Кокин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-984902-1

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В книге показана жизнь простых и зажиточных крестьян, граждан царской России мещанского сословия, военных и аристократов империи. Трудолюбие, упорство в достижении цели и благорасположение небесных сил помогают ГГ прожить яркую, насыщенную жизнь.

ISBN 978-5-44-984902-1

© Кокин О. Н.
© Издательские решения

Приключения Фора и Сандра

Олег Николаевич Кокин

© Олег Николаевич Кокин, 2020

ISBN 978-5-4498-4902-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Рождение первенца праздновали хоть и в январе, да в своей избе. Природа как никогда расстаралась на морозы. Правда, снегу нападало до наступления свирепых холодов достаточно. Земля была надёжно укрыта толстым одеялом снега. Изба у Никифора вся состояла из порядочных дыр между укосинами и балками и огромных трещин в глинобитных стенах, между затянутым бычьим пузырьём, так называемым, окном и стеной. Эти трещины на зиму были заткнуты, где старыми мешками, где пучками соломы, щедро замазанными красной глиной, и, несмотря на всё это непотребство, внутри избы было тепло. Молодая хозяйка с молодым хозяином старались хозяйство содержать не хуже, чем у других людей и поддерживать чистоту. Отец Никифора не очень утруждал себя строительством. И хотя управляющий барским имением не раз премировал Ефима, отца Никифора, нестроевым лесом за отлично исполненную работу, чтобы тот в хозяйстве что-то мог сделать. Родитель что – то пропивал со своими друзьями в кабаке тетки Таисии, что – то продавал на потребу голубей, до матери доходили сушие крохи, которые та прятала на черный день. Поэтому ни сеней у избы, ни одежды исправной у семьи и даже плетня нормального вокруг двора не было. Да и дети, появлявшиеся на свет у родителей Никифора отчего – то помирали, кто сразу, а кто через некоторое время. Только Никифор, как мать говорила, трудно болел почти год, а затем вымахал в такого вот гренадера. Единственное строение, что изготовил его отец на совесть и затем следил за ним всё время, пока был дома, это была голубятня в глубине двора. Он был заядлым голубятником. Охотником Зоревых тамбовских, как у них, у голубятников, такие люди прозывались. Были и турманятники, конечно, но то уже совсем другая песня. У него было двадцать четыре пары разных голубей, и дымчатые бело-поясные, и красно-поясные, и белозобые Зоревые, и синие, и пепельные, и чёрные, и белые. – Это королевская линия Зоревых – говаривал отец. Он всё мечтал достать парочку «Цыган» – серо-коричневых черно-поясных космачей, просил и управляющего и самого барина. Обещались. Управляющий установил специально для него трехдневную барщину, которую отец отрабатывал по полдня в неделю. Остальное время он был занят с голубями. Потому, что Зоревые гонялись в вечернюю зарю и барин на вечернем чае летом в саду, зимой в остекленной веранде должен был видеть и радоваться гону своих голубей. А по прибытии всевозможных гостей, сию забаву превращать в праздничное представление и напоминание некоторым дворянам, чем должен быть занят настоящий мужчина, кроме разведения орловских рысаков и «Cherchez la femme!». Обещал Ефиму добыть и «Цыган». Хоть, говорил, и дороговато – один «Цыган» целую золотую монету (царских десять рублей) стоит. По отъезду родителей, досталась Никифору старая изба, хлев для скотины и голубятня, соответственно и хозяйство всё. Когда Никифор был маленьким, до семилетнего возраста, голубятня всегда ассоциировалась у него с таким же волшебным дворцом, который отец, в конце концов, построит для них с матерью. В этот день привычный навозный воздух от теленка из клетки в дальнем углу избы и поросячий, вонючий дух из пустой соседней клетки победно перебивался душистым запахом свежее испеченного хлеба, три каравайя которого теща, наверное, надолго уж, прибежавшая к дочке и зятю, деревянной лопатой вынула из пышущей сухим кирпичным жаром русской печи. Хлеба теща разложила на рушник, лежавший на столе, чтоб подсохли. Лопату убрала под основание

печи на верхнюю полку опечья. С другого края стола к стоящей с овсяным киселем, начищенной до зеркального блеска, медной ендове на чистую тряпицу холщового полотна разложила в большую глиняную миску солёные огурчики из своей домашней бочки, в махонькую миску, яйца, сваренные вкрутую, пять луковиц крепкого, укрытого золотистыми листочками, лука положила просто на стол. В солонку досыпала соли. Достала из печи большой глиняный горшок с кипевшей чечевичной похлебкой, поставила на шесток и накрыла деревянной крышкой, вместо него вдвинула во чрево печи железный противень с нарезанными маленькими кусочками свиного сала, среднего размера горшок с перловой кашей, приправленной постным маслом, передвинула по поду, жестяной заслонкой загородила устье печи. Ополоснула руки под рукомойником. Сама отошла к судной лавке. И стала уже в сотый раз, наверное, чистой тряпичей протирать стоявшую там посуду, поглядывая при этом на, разомлевших в тепле и сладко спящих на полатах, дочку Арину и внука Евстафия. Который с самого утра на восьмые сутки от рождения был окрещён местным батюшкой Володимиром, и который прокричал всё своё крещение и потом просипел после него ещё некоторое время. Имя, данное внуку Марии, отец Володимир выбирал по святцам, по дню рождения в январе месяце, четвертого числа, одна тысяча восемьсот пятьдесят третьего года. И потом уже, в сторону отведя Марию, объяснял на ушко, придерживая её за всё ещё видимую талию, что таких хлипких младенцев вообще-то можно крестить и сразу после рождения, и на второй день рождения. Потому что, если вдруг помрет он, что, конечно, не дай бог такому случиться, то крещеным предстанет перед святым Петром у врат Рая. Далее объяснил, что имя-то выбирал не простое, а греческое, на русский манер означавшее – устойчивый, возможно, это поможет в дальнейшем житие-бытие и добавил, такое же имя носил древний римский император – это тоже в жизни кое-что значит.

Перекосившаяся от древности, обитая изнутри толстым слоем ветоши, маленькая дверь беззвучно (потому что хозяин в доме был и петли дверей дёгтем смазал, резкий запах которого едва различался в общей какофонии запахов) стукнула, впустив не только добрую порцию холодного зимнего белого облака, пахнувшего морозной свежестью, но и согнувшегося в три погибели молодого хозяина. Облако растаяло и его стало полностью видно в тусклом свете лучин, горевших и в камельке, сделанном на углу печи, и в светце, воткнутом в стену над лавкой, напротив печи. Под светцом стояло блюдо с водой, для падающих угольков. Высокого роста, косая сажень в плечах, молодой мужик ловко, одной левой рукой, скинул древний треух с белобрысой головы, встряхнул ею, волосы, подстриженные под скобку, взлетели и легли обратно ровно. Треух с головы и залатанный во многих местах ямщицкий тулуп с широкими костистых плеч аккуратно положил на стоящую справа от входа лавку рядом с деревянной бадейкой, в которой стояла чистая родниковая вода для питья, закрытая сверху деревянной же крышкой. Сам остался стоять перед входом, на, недавно поменянной по всему полу, ржаной соломе, в холщевой белой рубахе на выпуск, подпоясанный красным кушаком с двумя кистями, в, вывернутой наружу мехом, овчинной безрукавке, в жестких суконных серых портах, заправленных до колен в онучи. Ноги в не раз штопанных шерстяных носках обуты были в лапти, проложенные внутри войлоком. Другой рукой он бережно прижимал к тощему правому боку четверть самогона, загодя приобретённого в кабаке у старухи Таисии и припрятанного на сеновале ради этого долгожданного события. Хозяин, аккуратно, теперь уже двумя руками поставил бутылку на лавку, достал из-под лавки веник, собранный из полыни, тихонько, чтобы не шуметь, оббил лапти от налипшего снега. Все кусочки упавшего снега и нерастаявшие, и чуть-чуть подтаявшие он также четко и неторопливо убрал с соломы на земляном полу, на коврик из старой дерюги под дверью, положил веник на место. Разогнувшись, с той же степенностью перекрестился на икону Николая – Угодника, висевшую в восточном углу и прошел на чистую половину избы к столу. Завихрение воздуха при его передвижении сильно качнуло язычок пламени в лампадке, и как только он присел за стол, бегавшая по стенам большая тень за его спиной в разы уменьшилась. Теща, перестав метаться от печи к столу и обратно, поменяла сгоревшие

лучины в камельке и в светце и тихонечко его спросила: – Ну, что, будить твоих-то? – Погоди, все соберутся, тогда и разбудишь, – ответил он. – Ладушки, – согласилась теща и также тихо начала его расспрашивать про его родителей, переехавших к старой барыне Чичериной Авдотье Никитичне в волостное село Загряжское. Откуда, только вчера, он приехал с барским обозом домой, в Бунино – деревеньку, стоявшую на другом берегу реки Кариан от Аннинского, в двух верстах от барской усадьбы Паисия Александровича, сына Авдотьи Никитичны.

– Что-то без родителей приехал, или не отпустили? – продолжила теща.

– Да-а-а умерли они еще в запрошлом году, – угрюмо ответил Никифор, – а мне – то говорили, что уехали с молодой барыней в Москву.

– Ой, ой, оёёшеньки, – закрыла рот рукой теща, – Да как же так-то, вроде и не совсем старые были-то, а?

– Говорят, барыне старой не угодили, их и забили кнутами до смерти.

– Что делается, что делается и до коли нам её, эту ведьму старую, теперь терпеть, – тихонько заголосила теща. – Молчи, мать, не об том разговор, – прервал причитания тещи Никифор, – Люди молвят, барин-то молодой, Паисий Александрович велел их похоронить по-человечески, так-то вот. Со мной старшина села Аннинского недавно толковал, что обществу по весне надо двух мужиков поставить в солдаты, хочет меня у барина выпросить. У них, говорит, некому идти на следующий набор в солдаты, – перевел нить разговора в другую сторону Никифор. – Вот с барином весной разговор будет, чтоб меня отпустил из крепости в солдаты, а с Ариной, твоей дочкой, мы договоримся. Ты-то как, приходить, помогать-то, будешь?

– Ясный день, что, неродная она мне что ли? Конечно, буду, – ответствовала теща и, заговорщицки перегнувшись через стол к зятю, прошептала – Главное, говорят, что служить – то не до смерти, а до двадцати лет в сегодняшние времена надо, слышала, что говорил отец Володимир на воскресной проповеди. После, даст бог, ты вольный придешь, и детей нарожаете ещё.

– Так-то вот, – подвел черту их разговору Никифор.

Тут и Арина открыла глаза. Пододвинула спеленатого крошку-сына на теплую полувину полатей, откуда встала. Легонько прикрыла лоскутным одеялом ему ножки. Она поправила, смятую во сне, сорочку на себе и по ногам вниз, до расшитого охранным орнаментом подола. Через голову набросила на талию старенькую, но аккуратно заштопанную во многих местах, выбеленной ткани длинную юбку и повязала ее витым шерстяным шнуром по тонкой талии. Сверху сорочки одела, опять же старенькую, расшитую цветами, тонкой шерсти безрукавку, развернувшиеся длинные рукава сорочки с таким же орнаментом, что и на подоле, собрала у запястья в складки, их сдержала начищенными медными браслетами. Необходимые предметы ухода за одеждой брала с ажурной деревянной полочки на стене. Полуобернувшись к мужу с непередаваемой женской грацией и высоко подняв голову, она взятым с той же полки деревянным гребнем начала неспешно расчесывать свои длинные и пышные каштановые волосы. Затем заплела их в косы, уложила на голове, покрыла голову красочно расписанным полушалком. Шагнула к печи и повязала на себя снятый с деревянного крюка разукрашенный вышивкой передник. Никифор и теща, мать Арины, подперев головы руками, молча, смотрели на нее. Во взгляде Никифора светилась любовь и поощрение, мать смотрела на дочь с восхищением и умилением. Было от чего умиляться и восхищаться. И в кого только уродилась красавицей Арина. От этих мыслей лицо тещи начало краснеть. Да что уж тут думать. Что было, то было, отец Арины смиренно принял рождение девочки в их большой семье, она была четвертым ребенком после трех, выживших и выросших в отличных работающих парней, её братьев. После рождения Арины старый барин Александр Феофанович перестал к ней приходить, и Мария уверовала в счастливое завершение их истории. Но не тут-то было. Всё-таки заискрило между мужем и старым барином. Но муж-то – крепостной. И все права у барина. Вот и продал старый пень Василия на Урал, какому-то Дементьеву или Демидову. А от Парамонова до сих пор, уж семнадцать годков прошло, ни слуху, ни духу. Это и понятно, увезли-то под

конвоем. А может еще объявится, всякое бывает. А парни уже все в молодых мужиков превратились, двоих управляющий поженил, один холостяк, и все с мамой живут, никак не отделятся. Женатых-то в избе поселила, а сама с сыном Николаем в пристройке перебиваются. Хорошо, что хоть Арина к Никифору ушла, им с Николаем вольнее стало. А теперь надо, наверное, опять к молодому барину идти в ножки кланяться. К кому ж ещё идти. У женатых-то жены в положениях, им еще одна изба нужна. А молодые мужики хоть и мужики, да безъязыкие и боязливые сходить до барина.

Никифор ни о чём не думал. Глядел и любовался статным станом своей любви, гордой посадкой красивой головки на нежной, тонкой шейке, с такими замечательными волосами, что ей завидовала вся женская половина не только деревеньки Бунино, но и села Анненского, с огромными, широко распахнутыми карими глазами, крутыми розовыми щечками с ямочками, алыми полными губками, белыми ровными зубками и маленькими ушками, такими мягкими, что от предвкушения их потрогать, сердце останавливалось и таяло в груди. Вспомнилось ему, в начале прошлого лета, он, восемнадцатилетний парубок, втайне от тетки Мани встречавшийся с её дочкой Ариной, открыто, среди белого дня, наплевав на работу в барском саду, встретился с Ариной посреди деревни, у колодца. Как вспыхнула румянцем от смущения Арина, когда он, на глазах у местных баб, пришедших по воду к колодцу, крепко взял её за руку и, сам краснея и смущаясь своей смелости, повел её к тропинке на реку. Они долго целовались под ветками ракиты, гуляли вдоль речки между деревьев и опять целовались, и уже поздним вечером, проводив Арину до прируба к избе тетки Мани, быстро сбежал к тетке Таисии за косушкой самогона. Зашел домой, где уже месяц обретался один – одинешенек, перекрестился на икону, по-быстрому задал корма скотине: бычку, да поросенку, надел отцов армяк нарядный, похлопал по карману – там родимая, и ходу к Петру Григорьевичу Брянкину, управляющему. Как прибежал, о чём говорил, как на коленях стоял перед управляющим, вымаливая Аринку себе в жены, помнил как в тумане. Одно четко отпечаталось в мозгу: Григорьевич дал добро, и наказал завтра же забрать молодую в свою избу. А чтоб барин сразу об этом не проведал, свадьбы не будет и что распишет их отец Володимир завтра же до полудня в Аннинской церкви. – Ведь ты мне, вроде за внука теперь. После отъезда твоих родителей, хотел тебя к себе взять и натаскивать на службу, да старая карга воспротивилась, каждый день, если вспомнит, то каркает – забрить, забрить недобойка. Годок поживешь с Аринкой, а там и в рекруты, – это бормотание Григорьевича Никифор уже еле слышал, сам тихим голосом благодарил Петра Григорьевича и целовал тому руку. Было за что целовать эту руку. Не единожды судьба Никифора висела на волоске по причине наследственной отважности, немереной силушки молодецкой и юной неразборчивости в приобретаемых друзьях, за которых он пытался заступаться на скотном дворе, где тех поролы за различные провинности, в основном заслуженные. Где и самого поролы за заступничество. А старая помещица, заприметив надоедливое молодого заступника, вообще с ума сошла. Велела управляющему убрать недобойка с глаз долой, да хоть и в рекруты отдать. Григорьевич, дай бог ему здоровья, и отправил Никифора на конный двор в обучение возницам, с дальним поглядом на будущее. Сила – то возницам не только для погрузки и разгрузки нужна, а и в обороне от лихих людей. Вот и не стало видно Никифора в деревне и на барском дворе. Ан, когда при деле, да в тебе нужда постоянно, привези то оттуда-то, смотайся туда-то за тем-то, да везде загрузи и разгрузи, отнеси и принеси, силушка прибавляется, копейки начинают понемногу собираться в кошеле. И возницы – народ надёжный и толковый, плохому не обучат, правильно закрепили вбитые Никифору в детстве прописные истины по всем заповедям божьим, научили людей различать по одежде, выражению лица, по их поведению и делам, соответственно и друзей выбирать. Оружие всякое показали от кистеня и до огненного боя и как с ним обращаться. Григорьевич в этом тоже преуспел, нечестными, но запоминающимися беседами с Никифором, который по выполнению тех или иных заданий всегда приходил доложить управляющему. Как вышел от управляющего, как добрел

до деревенской улицы, сам не помнил. Солнце закатилось за высокие деревья в барском саду. По небу разлилась охряной краской вечерняя заря. Недавно, только что, тёпленький послеобеденный ветерок резко сменился вечерним прохладным затишьем. Петухи поочередно во всех дворах отметили смену дня и ночи. Игравшаяся днем ребятня также резво стала разбегаться по домам. И тут же вокруг загудели майские жуки. Почти во всех дворах постепенно прекращали мычать коровы и телята, блеять овцы и бараны, квохтать куры, гоготать и крякать гуси и утки. Всякая живность успокаивалась к ночи. Даже неугомонные воробьи на тонких ветвях ветлы, росшей около нового плетня у тётки Мани, и те прекратили ссориться и чирикать, разделившись на несколько стаяк, шумно перелетели, некоторые под застрехи соломенных крыш, некоторые в цветущий колючий шиповник, там нахохлились, распушились и замолкли. И зелёная трава, весь день пролежавшая на дорожках и посреди дороги в пыли и чуть пожухшая, к вечеру приподняла над собой маленькие отросточки и как будто пыль отряхнула с себя, стала зеленее и пушистее.

Попавшийся навстречу Никифору его одноклассник Сашка-Заяц, тоже живущий бобылем на краю деревни, поздоровался с ним, приподняв над кучерявой головой картуз со сломанным козырьком. Заяц в левой руке держал тяжеленный пастуший кнут с нахвостником из конского волоса. «Знать управляющий усадьбой на скотину Зайца поставил,» – подумал Никифор и кивнул Заяцу головой. Задиристый и бедовый Заяц с рассеченной в детстве на неравные половинки верхней губой, знавший наизусть с дюжину весёлых и похабных частушек был всегда душой компании, по вечерам собиравшейся в избах молоденьких вдовушек, если эти вдовушки были не против. И за словом Сашка никогда в карман не лез. Вот и прикинул Никифор, а что, если Зайца взять с собой, да вдвоём и засватать Арину у тётки Мани, а то одному не с руки сватать свою невесту. Свистнул залихватски вслед уходящему Сашке. Тот развернулся: – Что надо? Никифор махнул рукой, подзывая его к себе. Заяц, походкой знающего себе цену человека, подошел, остановился, вопросительно уставившись глазами в лицо Никифору.

Никифор вкратце обрисовал ситуацию и показал головку шкалика. Сашка сдвинул на затылок картуз, махнул зачем-то рукой и согласно сказал: – Айда. В пристройке у тетки Мани Николая и Арины как раз не оказалось. Никифор на ватных ногах, все-таки стухнул малость, пригибая голову, зашел в дверь следом за Зайцем. И тут все планы сватовства и переговоров у Никифора вылетели из головы, еще памятливы были вечера, когда тетка Маня, пришедшая с барщины, гоняла его крапивой вокруг своего прируба, а ее младшенький бугай Николенька, посверкивая белками глаз в сумерках и гогоча от души, затаскивал упирающуюся сестру Арину домой. Тетка Маня, вытирая руки передником, вопросительно взглянула на вошедших парней, отбивающих ей поклоны и затем перекрестившихся на иконы в красном углу. Здесь уж Заяц не подкачал. Легонько стукнул Никифора по плечу и произнёс ласково и припеваючи: – Ставь на стол то, что принес. Тётка Маня, мы узнали про Ваш товар, товар стоящий и красивый, вот купец, который очень хочет Ваш товар купить, так что накрывайте поскорее на стол, а то я голодный, – скомкал свое пафосное выступление Сашка. Тетка Мария широко раскрытыми глазами проследила за шкаликом, переместившимся из кармана Никифора в центр стола, за усаживающимися на лавку парнями и, прижав руки к груди, вдруг расплакалась, поняв, что к чему. Отсветы пламени, от горевших в печи соломы и кизяков, высветили начавшуюся в пристройке суету тетки Марии. Повязав, вынутый из сундука по такому случаю, новый цветастый платок на седеющую голову и надев чистый передник, тетка Маня, промокнув кончиком платка непрошеные слёзы, тоже присела на краешек скамейки с другого края стола и положила ладонями вниз обе руки на стол. – Вот, стало быть, я и дождалась, – со вздохом молвила тетка Мария, – купца за моим товаром. Сашка уж было рот начал открывать, а тетка Маня ему отвечала: – Да накрываю уже, накрываю. И в самом деле, быстро, как по мановению волшебной палочки, стол был накрыт. Опять присевшая к столу, тетка Мария, сама открыла косушку, плеснула парням на дно кружек, остальное вылила себе в единственную

заорлённую стопу (государственную, то есть), оставшуюся после отсутствовавшего хозяина в её прирубе. Не опуская стопу на стол, сказала: – Ну, чё уж тут размусоливать, давно я и Аринка на тебя, Никифор, глаз положили. И хозяином ты себя последнее время показал, и работать, как сказывает управляющий, могёшь. Да и весь видный из себя, даже у баб, постарше Аринки, дух захватывает, глядя на тебя. Короче сказать – совет вам, да любовь. Благословляю! Сказала и потихоньку стала отпивать самогону. Никифор залпом выпил, что налили и кивнул головой, мол – понял. Сашка выпил в унисон с Никифором, поставил кружку на стол и, поглядывая с любопытством то на тетку Марию, то на своего друга, принялся поглощать угощение на столе и не забыл всунуть кусок хлеба и солёный огурец в руки Никифору. Никифор в те минуты одно понял, тетка Маня не возражает отдать ему в жены свою дочь. Заяц не успел сделать третий заход по закускам на столе, а Никифор уже встал, отодвинул рукой скамейку, с сидевшим на ней Сашкой и вымолвил первые и последние слова за весь вечер, что они были у тетки Марии: – Благодарствую, за Ариной завтра спозаранок зайду.

И вот уже обмывать рождение первенца в их с Ариной семье он пригласил и тетку Маню, и Зайца – Сашку – пастуха, и младшего брата Арины, Кольку – помощника барского кузнеца, и если придет, управляющего, Петра Григорьевича, в настоящее время замещавшего Никифору отца и мать в одном лице. Больше никого звать не стал, ввиду зимней стужи и малой вместимости старой избы его родителей. Тем более родственников по деревне у него не было, родители не сподобились, тех самих молодыми издалёка привезли.

Вслед за вернувшимся с сеновала Никифором, дверь открылась и быстро закрылась, впуская Николая, низкорослого крепыша. Который долго хекал, обметая снег с ног, обутых в разношенные постолы, зато кирзовые, при этом перекидывая из-под одной подмышки под другую деревянную колыбельку, вычищенную добела, с позванивающими внутри нее цепями. Николай снял с себя прожжённый в некоторых местах, заштопанных умелыми руками матери, зипун. Повесил его и снятый с головы шлык на вбитый в стену избы для этих целей колышек и, протягивая колыбельку Арине, прошел к столу, на ходу перекрестившись на образа: – Это твоему малому. И сел рядом с Никифором, толкнув того локтем в бок. Никифор ответил кивком головы.

Пётр Григорьевич и Сашка – Заяц, как будто сговорившись, пришли вместе. Все головы присутствующих повернулись к входу. Перед их приходом Арина присела на полати, вынула изнутри колыбели длинные мелкозвенчатые цепи, завёрнутые в чистую тряпицу, любовно потрогала гладкую поверхность колыбельки, что принес её братец своему крестнику, услышала стук закрывшейся двери, подняла голову и не поверила глазам своим. Не ждала, не гадала, а что управляющий придет, как говорил Никифор, не верила. И вот он, собственной персоной, хоть и с бадиком и с другой стороны поддерживаемый Сашкой, а пришел, не побрезговал приглашением Никифора. Арина одной рукой осаждала мать, пытавшуюся двинуться в сторону Григорьевича, другой рукой огладила колыбельку на полатах и махнула Никифору, сиди мол, я сама. Вихрем и беззвучно переместилась к двери, при этом ничего не задев, низко поклонилась, подметая правой рукой пол. Распрямившись, от души обняла обеими руками Григорьевича за холодный полушубок и трижды в покрытые инеем бородатые щеки расцеловала его. И пока он ахал и охал от такого приёма, она, благодарно улыбаясь Григорьевичу, помогла поставить его бадик к печке и самому раздеться. Арина аккуратно развесила на колышки одежду Григорьевича. За всё то время, как он обметал свои белые валенки от снега и истово крестился на образа, озаряемые лампадкой, она всю одежду, не поместившуюся на колышках, и Сашкину тоже, тихонько перенесла на кирпичную лежанку печки и задернула цветастой занавеской. Григорьевич, чуть согбенный от годов и от забот, но всё ещё крепкий старикан, оправил левой рукой растрепавшиеся седины и такую же белую бороду, правой рукой снял растаявшие льдинки с рыжих усов и расправил их, и которые, несмотря на возраст, ну никак, не хотели сесть. Встал лицом к красному углу, ещё разок заручиться благорасположением господ нико-

гда не помешает, и перекрестился. Поискал глазами Арину, та уже переместилась к печи и чего —то там хлопотала с ухватом. Поручался с подошедшим хозяином избы и братом Арины, те, кланяясь до пояса, проводили почетного гостя до коника. Там Петр Григорьевич сполоснул руки у рукомойника, вытер их рушником, висевшим на конике, и прошел за стол. Перед столом все остановились, каждый перекрестился, как умел и прочел, кто вслух, кто про себя, молитву с хвалой господу за хлеб, соль. Бабы крестились, стоя у печи. Сами расселись следующим образом: Григорьевичу определили место в красном углу, как почетному и старейшему гостю, по правую руку разместился Никифор, дальше по старшинству — сначала Николай, затем Сашка. Места по левую руку оставили бабам. Утвердившись на лавке за столом, Григорьевич слегка кивнул, глядевшей на него во все глаза, изумлённой Марии и передал ей в руки, туго затянутый кожаным ремешком, кожаный же кисет со словами: — Дочке отдашь, за мальчишку. Ту, аж запуржило, замело. Кроме того, что не знала, так и не догадывалась Мария, что связывает такого барина, как Петр Григорьевич, с простым крестьянским мужиком, а хотя и видным из себя, Никифором. Поэтому, взяв себе на заметку, спросить об этом Григорьевича попозднее, Мария ответила на приветствие управляющего низким поклоном, кисет положила в карман передника. Быстренько завернула в рушник и отнесла два уже остывших хлеба в углубления на печи, третий каравай положила в стоявшую на столе круглую берестяную хлебницу с крышкой. В огромную глиняную чашку с помощью деревянного черпака налила приостывшей похлёбки, но исходящей густым наваристым запахом и поставила на стол. Арина, в это время, обойдя кругом стол, положила перед каждым едоком разнокалиберные деревянные ложки и поставила глиняные кружки. Хозяин тоже не отставал от женской половины, прислонив каравай хлеба к груди, остро отточенным ножом нарезал крупные ломти вкусно пахнущего ржаного хлеба и передавал их гостям. Остальные ломти нарезанного хлеба бережно сложил в хлебницу. Открыл четверть и разлил каждому, включая и женщин, по полкружки самогона. Просыпанные крошки хлеба на столе, собрал на краешек стола, пересыпал в ладонь другой ладонью и отправил в рот. Разбрасываться хлебом его не учили. Мария вынула из печи, скворчащие на противне, зажаренные коричневые кусочки свиного сала с небольшим количеством мяса. Собрала их в черпачок и опустила его в огромную чашку с похлёбкой, размешала. Заправленная шкварками похлёбка стала пахнуть ещё вкуснее. До сих пор никем незамеченный и дрыхнувший на печи кот Тимофей замаякал еле слышно. Он, привлеченный ароматами еды, мягко спрыгнул на солому — на пол, потихоньку подбираясь к столу. Наконец все расселись по местам. Слово взял Григорьевич, встал, побряхтывая, махнул остальным, чтоб не вставали, пожелал здоровья всем, в первую очередь хозяину и хозяйке, и ихнему маленькому чаду, воздал хвалу отцу Володимиру за удачно выбранное имя, посоветовал крестному отцу Евстафия не забывать дорогу к крестнику, почокался кружками с хозяевами и гостями и далее молвил: — Ну, кто не выпил до дна, не пожелал добра, — выпил стоя, присел за стол. Не вставая, остальные также опорожнили кружки, включая и баб. Закусывали похлёбкой опять же по старшинству. Сашка за внеочередную ловлю шкварок без очереди получил от Григорьевича в лоб ложкой, энергично потёр лоб ладонью, и теперь продолжил хлебать уже по очереди. Первым положил ложку перед собой Григорьевич, потом бабы, затем Никифор, а Николай наперегонки с Сашкой подскребли оставшуюся похлёбку до дна у чашки. Гуляние продолжалось. Мужики забубнили про железо, землю, лошадей, а Мария уже похаживала от полатей до печки и обратно, нежно покачивая, покрикивающего во сне внука, Ариного малыша. На кашу, поставленную Ариной на стол, никто не обратил внимания. Зато на шелестящие звуки освобожденного Никифором от холстины порядочного шмата сала, в которую тот был завёрнут, все повернули головы, а кот с надрывом мяукнул. Нарезав порядочную горку кусков сала, Никифор подвинул её на середину стола и опять разлил самогон по кружкам: — Ешьте гости дорогие, за ваше внимание и понимание, а особенно благодарствуем Петру Григорьевичу, — произнес он с чувством и, склоняя голову, чокнулся своей кружкой с кружкой Григорьевича и кружками осталь-

ных гостей. Выпили. – Ах, хорошо пошла – крикнул Григорьевич и, приостановив разговор с мужиками, ласково спросил у Арины, показывая на корчагу: – А здесь у тебя, красавица, что за еда? – Это кисель, дедушка – отвечала хозяйка. – Ай, какая ты молодчина, хозяйюшка, вот уж уважила старика. И откуда только узнала, как я люблю кисели – Григорьевич хитро прищурился и посмотрел на Марию.

– Так, угощайтесь, дедушка, ешьте, ешьте на здоровье – начала уговаривать Алена управляющего.

– Обязательно откушаем твоего угощенья – заверил её Григорьевич, – но сначала послушайте, какое это знатное и почетное кушанье русское, которое в старину даже город от нашествия кочевников спасло. Все притихли и внимательно глядели на Григорича, даже маленький Евстафий перестал вскрикивать и тоже, будто бы, приготовился слушать деда. Кот Тимофей прервал счастливое урчание и, как будто понимая что-то, подняв голову над прижатым лапой куском сала, продолжительное время смотрел на Григорича.

– Было это в далёкие, далёкие времена. Выдался год для Руси тяжелый. Пришли кочевники, вражье племя, которые печенегами назывались, постоянно на Русь набеги совершали. Пошел князь Володимир к Новгороду за северными воинами против печенегов, так как была тогда непрерывная великая война. Узнали печенеги, что нет князя, пришли и встали под Белгородом. И затянулась осада, и был сильный голод. И собрали в городе вече, и сказали: – Вот уже скоро умрем с голода, а помощи нет от князя. Сдадимся печенегам – кого оставят в живых, кого умертвят; все равно умираем от голода. Так и решили на вече. И был один старец, который не был на вече и спросил он: – О чём было вече? И поведали ему люди, что хотят завтра сдаться печенегам. Услышал он об этом, призвал к себе старейшин города и сказал им: – Слышал, что хотите сдаться печенегам. Они же ответили: – Не стерпят люди голода. И сказал им старец: – Послушайте меня, не сдавайтесь еще три дня и сделайте то, что я вам велю. Они же с радостью обещали послушаться. И сказал он им: – Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей. Они же с радостью пошли и собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, на чем кисель варят, и велел выкопать колодец и вставить в него кадь, и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой колодец и вставить в него кадь, и повелел поискать меду. Они же пошли и взяли лукошко меду, которое было спрятано в княжеской кладовой. И приказал сделать из него сладкую сыту и вылить в кадь в другом колодце. На следующий же день повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: – Возьмите от нас заложников, а сами войдите человек с десять в город, чтобы посмотреть, что творится в городе нашем. Печенеги обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей в своих родах, послали в город, чтобы проведали, что делается в городе. И пришли они в город и сказали им люди: – Зачем губите себя? Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и десять лет, то, что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли. Если не верите, то посмотрите своими глазами. И привели их к колодцу, где была болтушка для киселя, и почерпнули ведром, и вылили в лотки. И когда сварили кисель, взяли его и пришли с ними к другому колодцу и почерпнули сыты из колодца, и стали есть сначала сами, а потом и печенеги. И удивились те и сказали: – Не поверят нам князи наши, если не отведают сами. Люди же налили им корчагу кисельного раствора и сыты из колодцев и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали всё, что было. И, сварив, ели князья печенежские и дивились. И взяв своих заложников, а белгородских отпустив, поднялись и пошли от города восвояси. Так-то вот кисель русский спас русский город. И это не сам я придумал. А записано это в летописи у Нестора, как нам, только прибывшим в Севастополь, молодым солдатам батюшка Ушаков Федор Федорович рассказывал, царство ему небесное, не за столом будет помянут. Такой вот присказкой закончил свой рассказ Петр Григорьевич, побряхтывая, встал, повернулся к иконам и перекрестился. – Прости меня, господи, – добавил он, присаживаясь. – Ну-ка, набей – ка мне трубку, будь ласка, – перемежая свою речь малороссийскими словами, обратился Гри-

горьевич к Никифору, и подал тому трубку и кисет с курительным барским табаком, а сам, испросив у Марии ковшик и зачерпнув им кисель, начал потихонечку его выпивать и поглаживать отсутствующую мочку правого уха. Попивал, попивал, да и поглядывал, то на шепчущихся женщин, то на тихо беседующих молодых мужиков, которые изредка бросали на него заинтересованные взгляды « может нужно что? Только скажи Григорьевич». Никифор заряженную трубку и завязанный кисет положил на стол перед управляющим, который продолжал потихоньку потягивать кисель из ковшика и повернулся к Николаю с весёлой ухмылкой, одновременно подмигивая Заяц: – Так, говоришь, завалили вас работой. А сам – то справляешься в учениках? Или помочь прийти нам с Сашкой? Николай с довольной улыбкой поддержал шутку: – Да, работы в кузне навалом, но я думаю, сами разгребемся к весне – то. А вас – то зови, не зови, все равно не придете, – подытожил он. – Эт, что-то так-то? – вскинул голову, задумавшийся о чём – то Заяц. – Да, поясни, – поддержал друга Никифор. – Легче легкого, вы – то тоже пашите на своих местах, и если кто – то из вас, а тем паче сразу оба бросите свою работу и бегом мне помогать, да и ещё не зная нашей работы, толку – то! И мне не поможете, и свою работу не сделаете, а ты говоришь, что, – уже серьезно отвечал Николай, похлопывая Сашку по плечу. Тут пахнуло аристократическим запахом курительного табака от трубки Григорьевича, который перед этим, не трогая разговаривающих мужиков, жестом подозвал Арину и, также молча, указал на трубку. Арина легко поднялась из-за стола, зажгла свежую лучину от лучин, освещавших избу, и подала Григорьевичу. От огня которой Григорьевич и раскурил трубку. – Интересно – чай, подарок – то посмотреть, – пыхая дымом в бороду, промолвил Григорьевич, обратясь к Арине. – Да какой – же? – разведя руки в стороны, недоуменно спросила Арина. – А ты у матери в переднике глянь, – сказал и глазами указал на Марию управляющий. – Мама, Петр Григорьевич говорит, мой подарок Вам отдал, дайте мне его, пожалуйста, я посмотрю, что это? – обратилась Арина к матери с вопросом. Та с ответом: – Держи, совсем закрутилась, – подошла к Арине боком, на одной руке держа внука, другой вытащила сверток Григорьевича из кармана передника и передала Арине. С молодым нетерпением и благодарственным трепетом приняла Арина сверток из материнских рук. Аккуратно освободила кожаный кисет от кожаных завязок и перевернула над столом. Из кисета с глухим стуком по скоблёному дереву стола выпала длинная нитка морского жемчуга. Меж мужиков стих разговор, все разом повернули головы на стук и открыли рты, увидев какой подарок, Григорьевич подарил молодке. Перебирая шероховатые на ощупь горошины жемчужин своими красивыми тонкими пальчиками, Арина вопросительно поглядела вначале на мать, затем на Григорича. Мать пожала плечами и занялась разревевшимся внуком, меняя ему мокрую пеленку на сухую. А Григорич махнул рукой: – Что уж там, одевай, одевай, дай нам полюбоваться на красоту – невестку моего названного внука. Зря, что ли эта нитка ждала столько лет. Вправду сказать, для своей суженой берег, да судьба распорядилась иначе, до моего приезда с моряков, упокоилась голубушка. Пусть земля ей будет пухом. И уже шепотом для себя, добавил: – Прости меня, господи, не за столом будет сказано. – И уже громче: – Ну вот, Никифор, гляди на свою кралою, это ж царевна прям, ты уж её береги, а чуть что не так, так гляди у меня, – и шутливо погрозил Никифору согнутым указательным пальцем. – А мне жемчуг достался как трофей, когда с Федором Федоровичем Ушаковым итальянский город – Неаполь от французов освободили, – пресёк возможные вопросы Григорьевич и пустился в воспоминания лет своих молодых и старше тоже. И Никифор, и Сашка – Заяц, и Николай, и Мария, и Арина, теребящая жемчуг у себя на шее (одела быстро, как только разрешил, подумалось – а вдруг передумает), и успокоившийся Евстафий – все, затаив дыхание, слушали рассказ Петра Григорьевича о морских баталиях. Рассказ о том, как моряки служили и на кораблях жили, о дружбе морской и порядках на воде и на суше в Российском Императорском Флоте и что за отец суровый и справедливый, был адмирал Ушаков Федор Федорович.

– Рекрутом попал я, ребяташки, не в моряки, а в солдаты. – Степенно начал свой рассказ Григорьевич, изредка попыхивая трубкой, – и прослужил даже целых два месяца денщиком у его высокоблагородия полковника Ермилова Тимофея Павловича в Тамбовском полку. Служба солдатом на суше, это я вам доложу, курорт по сравнению с морской службой. Даже, несмотря на жестокие наказания за упущения по службе, на смерть или ранения в сражении, солдат в пехоте стоит и ходит по твердой земле, вдоволь воду пьет и иногда нюхает цветочки. Тогда как моряк всё это имеет в десять, а то и в сотни раз меньше, а воюет с врагом подчас и похлеще и храбрее чем сухопутный вояка, да и усопшего моряка хоронят в море, если есть что хоронить. Два месяца служил, и давно же это было, а помнится так, будто вчера всё произошло. Только Очаков у турок взяли. Тут циркуляр (обращение) от генерал-фельдмаршала Потемкина Григория Александровича прибыл. Срочно набрать команду рядовых, да никаких – нибудь, а вот наподобие Никифора. Вот моряком меня и сделал писарь нашенский, полковой, написавший приказ по полку о переводе ста пятидесяти душ нашего полка в Российский Императорский Флот. И подмахнул этот приказ мой господин, его превосходительство полковник Ермилов. Передо мной притворно сокрушавшийся, что вот, денщика у командира полка начальство забирает, а он ничего поделать не может. А всё произошло от недокомплекта у Флота нашего на Чёрном море после Крымских войн с турками. А нам-то боязно на море идти, это ж, почитай, в тюрьме легче срок мотать, и накормят и напоят, нормальной, не солевой, водой, и под ногами, опять же твердь, а на воде, говорят, и болезни разные приключаются, да и потонуть там легче лёгкого. Пригнали нас, уже и не сопливых, на корабли Черноморского Флота, в главную морскую базу – город Севастополь. Что тут началось! На морском языке это называется – аврал. Во-первых, нас по новому, всех обстригли и помыли. Одели в рабочую матросскую форму, так называемую, робу, старенькую и залатанную в разных местах, но чистую и старые дырявые башмаки. На голову, на первое время, сказали повязать платки из ветоши (ветошь в то время на кораблях состояла в основном из старого, рваного, непригодного для ремонта, но постиранного и чистого постельного и нательного белья). Сразу выдали именной матросский рундук, в котором боцманмат (это помощник боцмана по материальной части) уложил по нашему росту матросскую одежду: новую рабочую и новую парадную, а также треуголки из черного сукна, добротные кожаные сапоги с отворотами, а мне ещё и тесак канонира. Серым ветреным утром второго дня на всеобщем построении нас, молодых, по командам кораблей раскидали везде поровну. И стали с нами заниматься старослужащие бомбардиры и фейерверкеры для обучения морской службе на судне и на суше прямо со второго дня прибытия. Меня, как самого сообразительного, не зря в денщиках ходил у его высокоблагородия, и сильного, не смотрите, что сейчас я и кашляю, и с палочкой хожу, в те времена был – о-го-го, поставили в прислугу орудия первой палубы, той, что ближе к кубрикам и трюму на первого ранга линейном корабле «Святой Павел». Судовой фельдшер, как поглядел зубы у меня и пощупал мышцы на руках, так и сказал, силача, мол, в орудийную команду, на гон-деку. Корабль был новый, только сошел со стапелей в Херсоне, все снасти новые, пушки новые и мы, тоже, новые на море. А в прислуге пушки нашей было где – то человек десять, это не как четыре канонира, что у пушек на открытой палубе, и не как на мидадь-деке (вторая палуба) на пушку восемь орудийных в прислуге. У нас на гон-деке стояли самые тяжелые пушки. Которые полегче, выражаясь словами наших офицеров, стандартные двадцати четырех фунтовые, стояли на второй палубе, а уж самые лёгкие, полупушки и фальконеты (12 и 6 фунтовые) стояли напротив открытых полупортиков в фальшборте на верхней открытой палубе. Тридцати шести фунтовая пушка – это зверь. И чтобы этот зверь не кусал тебя, ты должен уметь ухаживать за ним, любить и ласкать его, как любимую девушку, не забывая банить, чистить и смазывать после стрельбы. И чтобы всегда все приспособления по стрельбе и выкатке орудия для выстрела, после зарядания, лежали на своих местах. Не дай бог, что-то забыть в другом углу палубы или не вовремя отвязать канат открывания порта пушки, или долго зажигать

фитиль, старший фейерверкер орудий голову свернет и скажет: «Так и было». Поэтому и старались постичь азы морской науки зараз и накрепко. Как мичман морской артиллерии «Святого Павла» говорил: – Сегодня ты орудию обходишь и жизни ему прибавляешь, а на завтра оно тебе и твоим товарищам жизнь спасёт! Он у нас на корабле самый главный спец по пушкам был, ох, и душевный человек, хоть и молоденький офицер, а прям батяня, Александром Михайловичем звали, а фамилия – Зимин. И пушки свои и нас, детей своих, никому в обиду не давал и нашим ходатаем был перед его превосходительством адмиралом Ушаковым Федором Федоровичем по наградам живым героям и помощи семьям убиенных в сражении морских солдат и матросов. И это правда, ребятушки. Стало быть, у нашего орудия я с девятью своими товарищами были самыми низшими чинами – канонирами. И звания наши так и назывались канониры двупушек, это значит, наша пушка почти в два раза тяжелее стандартной была. Остальных распределили кого куда. Кто – то попал в морские солдаты (это которых с кораблей высаживают на сушу, чтобы те там с врагом воевали), кто в подносчики боеприпасов и пороха, этим самое вроде бы безопасное и в то же время самое тяжелое место при схватке морской подалось. Сами подумайте, мыслимое ли дело, тяжеленные мешки с припасами и бочонки с порохом снизу, с трюма, аж до верхней палубы бегом нести. Ан сдюжили. А кого-то поставили канонирами единорогов. Половина пушек из двадцати восьми на гон-деке были единороги. Вот ведь красавцы – и видом, и разрушением вражеских кораблей, и прицельной стрельбой превосходили остальные пушки. Других солдат определили чисто по матросской части – обслугой снастей корабельных, по аварийным делам и в некомплектные команды других судов морских. Кормили нас, хотя и быстро, быстро, но от пуза. По этому поводу наш главный кок (так повара на судне звали) шутил, что, сколько калорий моряку не забивай в живот, жирным моряк не станет. Вот такое напряженное учение у нас было.

А случаев всяческих, и курьёзных, и обидных и серьезных, так сказать героических, происходило на корабле много. Вспомнилась Калиакрия. Дикий рев фейерверкеров: – К орудиям, три якоря в глотку и факел в одно место, порты открыть, заряжай! До этого крика трое суток шли из Севастополя под всеми парусами. Петр с Семкой, поставленный на должность заряжающего его орудия, бархоткой наводили глянец на палубную рынду с вылитыми по ее нижнему поясу буквами «СВЯТОЙ ПАВЕЛ». Холодноватый ветер трещал парусами, солнышко по-летнему знойно пекло сквозь косынки коротко стриженные головы. После сытного обеда животы у обеих успокоились и не бурчали. – Ну, что, метать харчи не будешь больше, – с подначкой спросил Петр Семку. Семка серьезно глянул на Петра: – Доктор меня осмотрел и сказал, что болезнь отступила и теперь я моряк. – Ну, тогда, ладно, – уважительно протянул Петр и покровительственно хлопнул Семку по спине. А тут этот ор и свистки боцманов. Все, кто находился на палубе, работающие матросы, вальяжно прохаживающиеся офицеры и наблюдающие за работами нижних чинов боцмана вмиг бросились врассыпную, по своим боевым местам. Петр только начал закреплять крышку портика, а Семка уже довольным тенорком профальцетил: – Заряжено! Петр кресалом зажег пропитанный земляным маслом малый факел, им же запалил и плошку с этим маслом, факел затушил. И теперь стоял возле нее с приготовленным факелом, дабы им, зажжённым от плошки, поджечь пороховой заряд пушки. В квадратном окошке портика качнулась тёмно-зелёная вода черного моря, показался далекий клочок суши с выжженной солнцем травой, потом вылезли смазанные в солнечном свете силуэты османских парусных кораблей. Орудийная прислуга навела и закрепила пушку подпорками и канатами. Грянул громкий возглас командира палубных пушек: – За Царя, отечество, за веру. Пали! Все матросы и командиры, открыв рот, чтоб не оглохнуть, сопровождали яростными и жадными взглядами, прерывающиеся качающимися окнами портов, полеты чугунных ядер, с оглушительным грохотом покинувших уютные лежанки стволов тридцатишести фунтовых пушек. Некоторые ядра упали чуть-чуть не долетев до бортов вражеских кораблей, вздымая дымные султаны воды, но одна часть ядер прошла железным градом по палубам, парусам,

мачтам и палубным надстройкам, сокрушая дубовые доски обшивки судна, натянутые канаты парусов, мощные столбы мачт. Разлетающиеся щепки и куски дерева рвали до смерти или ранили мягкие тела людей в турецкой форме. Другая часть ядер пролетала через переборки и ткани парусов, застревая в противоположном борту или в настилах трюма, опять – таки убивая и калеча команду вражьего судна. Снова команда: – Заряжай! И все повторяется. Петру горячим вихрем опалило правую щеку и ухо. Рука дернулась к уху и ощутила что – то горячее и липкое. « Ну, гады, попляшите вы у меня на углях» – с яростью посмотрел он на окровавленную ладонь, сзади послышался протяжный стон. Быстро обернувшись, Петр увидел палубного фейерверкера Фрола Тарасовича из – под Великого Ростова. Он разевал и закрывал рот, силясь что – то сказать, держался обеими руками сзади себя за обшивку переборки, сползая по противоположной от порта стенке. А из – под задравшейся нательной кровавой рубахи проглядывали рваные кровяные обрывки кишок в аккуратной дыре живота. Петр рванул к Фролу, держа его подмышки, склонил голову с целым ухом ко рту Фрола. – Ты, это, паря, матери отпиши, что умер хорошо, – просипел кривляющимся ртом Фрол и сразу же обмяк, смотря перед собой бездумными, стекленеющими глазами. И как только положил Петр Фрола на пол, тут вся катавасия закрутилась еще круче. Ни качающийся под ногами пол, скользкий от брызг воды и вытекшей крови убитых и раненных матросов, ежеминутно присыпaeмый щепой и осколками обшивки и переборок, из – за попадания в них вражеских ядер и пуль, ничто не мешало остающимся в меньшинстве боевым расчетам производить залпы и разрозненные выстрелы из пушек по команде Петра. Бились до темноты. Стреляли уже по видимым вспышкам огрызающегося врага. Звонкий крик прибежавшего мичмана: – Прекратить огонь! – явился долгожданным событием для оставшейся горстки пушкарей, крутящейся, как черти на горячей сковороде, из последних сил подкатывавших пушки к порту и заряжающих их тяжелеными чугунными ядрами. – Да, много, – прервался Григорьевич, задумчиво глядя на огонек лучины. – Ну, заговорил я вас, а главный герой наш сегодня требует отметить крестины как следует. Правильно я говорю, Евстафий, а? – Чуть повысил голос Григорьевич и остро, и ласково взглянул на кучу пеленок в руках Марии. Евстафий, как – будто понял, что к нему обращаются, легонько всхрапнул во сне и повернул головку в другую сторону. Все тихонько засмеялись, а Никифор и Алена влюблено переглянулись меж собой. Николай, взяв на себя смелость, разлить по кружкам самогон, аккуратно приподнял опорожненную наполовину четверть и наполнил кружки на столе. Так же аккуратно встал с лавки, не тревожа соседей, и сказал тост: – Пьем за моего крестника, за его долгую и счастливую жизнь, за то, чтобы умным и справедливым как наш Петр Григорьевич был, чтоб кормильцем для своей семьи был и родителей не забывал. – Правильно сказал, верно, – поддержал Николая Сашка, не забывая накладывать на ломоть хлеба тверденькие, с прослоечками мяса, кусочки соленого сала. – Вот, дает, а? – ни к кому не обращаясь, спросил Григорьевич, поднимая кружку и уже поглядывая на Николая, добавил: – Хорошо сказано и ладно выпито. Чокнулись, не забывая и баб, кружками. Выпили. В который раз мужики после опрокинутых кружек крякнули, а бабы ойкнули. Снова потянулись неспешные разговоры.

Разомлевший от выпитого в натопленной избе и, наконец – то, почувствовавший себя в своей тарелке (не счесть, сколько вечеров проведено в других избах в компании парней и молодок), Сашка расправил тощую грудь, испросил разрешения у старшего за столом, у Григорьевича, кое-что рассказать. Тот дал добро. – Это не сказка и не быль, а словесная пыль – затараторил Сашка и раскрыл рот, чтобы продолжать дальше и тут же захлопнул его, услышав отповедь Григорьевича: – Я тебе слово дал для чего? Для рассказа! – Григорьевич поднял указательный палец правой руки вверх, – А ты тараторишь невесть что, девкам на посиделках будешь тараторить, здесь же, за столом расскажи нам свой рассказ спокойным языком. – Заметив, что и сам заговорил вроде-бы стихами, сплюнул через левое плечо: – Тьфу, ты черт, сглазил пацан, – и добавил – ну? Что хотел сказать? Рассказывай. И без фокусов своих. Сашку

уговаривать и не надо было, бессловесно выдохнул он все свои возражения Григорьевичу и с загоревшимися глазами, но уже спокойно и размеренно, явно желая, чтобы его повествование понравилось имевшимся слушателям и в особенности Григорьевичу, начал вести рассказ: – Дело было в начале позапрошлого лета. Как обычно, пас я коров возле той балки, из которой ручей чистой родниковой воды вытекает (Григорьевич нахмурился). Ты, Григорьевич, не сердчай, коровы – то от родника далече были, уж я – то эти дела блюду, к роднику коров ни-ни. (У Григорьевича брови расправились) Так вот, я и говорю, сижу, пью чистую родниковую водицу, тут смотрю, странница идет в мою сторону с котомкой за плечами и за руку маленького ребенка ведет за собой. Николай с Никифором, прислушиваясь к рассказчику, изредка о чем-то меж собой шептались, Григорич внимательно слушал. А Мария с Ариной, подперев головы двумя руками на одинаковый манер, внимали рассказу с переживаниями, и зорко следили за губами рассказчика. Сашка продолжал: – издалека, видно, шли. Ногами траву и камешки на тропке загребали. Уставшими они были, это точно. На женщине лица не видно, только глаза, остальное платком укутано. Зипун веревкой перетянут под грудями, платье или юбка там – до земли, и видно, что на сносях сама – то. А ребенок одет прямо барчонок будто, только во все грязное, а личико хотя и не закрытое, как у женщины, а все – равно не понять, паренек это или девчонка. И то, что не цыгане, тоже было ясно видно. Я сразу заметил, что глаза у женщины, уставшие и голодные, да и ребенок её посмотрел на меня как – будто волчонок какой. Уступил я им свой кожушок, на котором сидел, без всяческих слов, угостил, чем бог послал, да чем меня поварахи снабдили на день. Женщина мне рукой показала и сказала, плохо так по – русски, отвернись, будь добр, пока мы есть будем. А мне- -то что, пока они ели, я к стаду сбегал, пересчитал и осмотрел своих подданных. Все были на местах, лежали в травке и жвачку жевали. До дойки времени было еще навалом. Поэтому выждал я определенное время и спустился в балку. Станница была уже на ногах и в вытекающем ручейке родника, то есть, родника не оскверняя, держась за свою поясницу одной рукой, другой зачерпывала воду и обмывала лицо своему ребенку. Теперь я был уже вправе спрашивать у них, кто они, откуда и куда путь свой держат. Мария не удержалась: – И кто ж это были? Ответил за Сашку Григорич: – Он нам про это и рассказывает. Слушай доченька и не перебивай. Сашка облизал губы языком и с благодарностью взглянул на Арину, подавшую ему ковшик киселя. Быстренько выхлебал его, вытер рукавом кисельные усы с раздвоенной верхней губы и продолжил: – Мне сразу узнать об этом не удалось, баба, и ребенок её, не разговорчивые попались, сказали только, что погорельцы будто и идут с южных гор, которые Кавкасовыми называются. – Правильнее сказать: Кавказ это – не выдержал неправильности и тихонько перебил рассказчика Григорьевич, – ох и бедовые людишки там живут, одним словом, горцы. Повидали мы и их тоже, – и уже громче, кивая Сашке головой, – да ты рассказывай, рассказывай, что – то дальше-то было. – Да ничего и не было, баб на дойку сторож наш Авдей привёз на рыдване, так после дойки она вместе со своим ребенком с ними в село и уехала. Вот! – тут Сашка выпрямил спину и положил руки ладонями на стол. Всем своим видом говоря, что вы еще от меня хотите. – Ну – да, ну – да и теперь она со своей девчонкой и маленькой лялькой у тебя в дырявой халупе вроде бы тайно проживают – обличающе проворковал Григорич и с прищуром посмотрел на Сашку. Все также уставились на него в вопросительном молчании. – А-а, что уж там молчать, а вот и скажу всё, как было, – махнул рукой Сашка-Заяц. – Обманула она меня сначала, оказывается не с Кавкасовых гор она, тьфу ты, не с Кавказа, а с Италии, а убежала от османов из гарема Юсуф-паши, и дитятку свою прихватила, а второй маленький родился у меня в избе от насильника казацкого. Пока она пробиралась к нам, он её изнасиловал, значит. А шла, правильно, через те горы, люди добрые ей помогали, чем могли, да и полдороги почитай в воинском обозе поварёнком проработала, за проезд значит, до нас – то. – Не ругайте меня люди добрые, а только я спросить хочу, а что – то она, то к нам, то до нас, это что у нас для неё мёдом намазано, а? – приподняв подбородок и покрасневшись, сладким голосом пропела Мария. – Остепенись,

остепенись Мария, дай дослушать Сашку – то, – рыкнул Григорич. Благодарно глядя на Григорича (не дал в обиду женскому полу) и, переводя гордый взгляд с одного слушателя на другого, Сашка продолжал: – Аж два с половиной года прошло, как плыла она со своим суженым и с дочкой из Италии в Россию на своем корабле. Они богатые были. А плыла, чтобы встретиться со своим дедом и передать ему, что дочь его Жанна, её мать представилась по неизлечимой болезни, а бабушка Александра жива и здорова и зовет его к себе в город Неаполь жить. Она теперь богатая вдова. А тот дед работает у русского барина Чичерина Александра Феофановича и проживает у него в усадьбе, так ей, мол, сказали в консульстве русском в Неаполе. А деда её зовут Пьером. Да вот незадача, напали пираты. Всю команду и мужа убили, корабль сожгли, а их и остальных женщин османам в рабство продали. И закончил тоскливо: – Я вроде всех в округе стариков знаю, но с таким именем у нас и нет никого. Теперь пришла пора краснеть управляющему, и с чего бы только, вроде бы и времени утекло немало, и знать никто не знает и не догадывается. А вот, в самом деле, стыдно стало перед собой и перед невестой Дарьей, что ждала его и не дождалась и теперь в земле лежит, а дух её днем в небесах, а ночью во сны приходит. И всё так же любит его, как в молодости, и ничего плохого не говорит ему.

У остальных, понятное дело, от таких новостей рты шире открылись, вот тебе и Сашка – Заяц, вот тебе и простой пастух. Хоть и непростую беглянку, да и с двумя детьми, а вот какой доброй души человек оказался, и в дом к себе поселил, и кормил, и поил, и тайну хранил. Да над ним не смеяться, а молиться на него надо. Григорьевич хлопнул ладонью по столу, привлекая к себе внимание: – Ну-ка, Колюшка, повтори еще разок. – И многозначительно постучал указательным пальцем по своей кружке. Николай, услышав такое свое имя, даже подпрыгнул на лавке. Мухой поднял четверть над кружками, налил каждому вровень, вроде бы и с пьяных глаз наливал, но рука кузнеца не дрогнула, на стол ни капли не пролил. С Сашки-Зайца люди, сидящие за столом, перевели свой взгляд на Григорьевича, что-то ещё скажет. – Ну, что рассматриваете, как будто я писаная красавица? – оглядывая каждого по очереди за столом, молвил Григорьевич, приподымая наполненную кружку, – Повиниться, хочу, если уж не перед своей Дарьей, то хоть перед людьми своими, был грех, сошелся я в Неаполе с одной итальянкой. Ну да ладно выпьем, здоровья всем. – Прервался Григорьевич и молодецки опрокинул содержимое кружки в широко распахнутый рот. Кашлянул: – Кха – а. Аппетитно захрустел солёным огурцом. Остальным открывать рты не было надобности, как сидели молча с открытыми ртами от услышанного, так и выпили молча и закусили тоже все огурцами. Прожевавши огурец, Григорьевич продолжал: – И встречались то мы с ней, всего ничего, дней десять, не более. Ан запомнила дева, что ей про родину свою говорил. И кем работать буду, тоже запомнила. И ведь сказал просто так, не подумавши, про Загряжье, про управляющего именем помещиков Чичериных. Да, судьбу не обманешь. Так что, оказывается, дай бог, конечно, внушка это моя. Как ты говоришь Сашка, имя – то её? – Лизавета – дрогнувшим голосом отвечал Сашка. – Это ж надо, как моя дочь угадала с именем моей внучки, а про Жанну моя Александра мне так и сказала, будет парень, назову Пьером, как тебя, а будет девочка, назову Жанной. Видишь, так и назвала. – Со слезами в голосе, но с гордостью пьяного человека закончил изливать душу Григорьевич, и встал из-за стола. – Про меня вы теперь почти всё знаете, а вот про ..., – тут Григорьевич прикусил себе язык, – так, Никифор и Сашка, проводите-ка меня к моей внучке, хочу с ней потолковать. Знал, знал и видел, в каких отщепенцев и презираемых высшим светом неблагонадежных людей превращаются преуспевающие и родовитые купцы и дворяне. Да что там, дворяне – князья и графы, что своим поведением и дружеским отношением к низшему сословию, к этому быдлу, ставили себя вровень с ним и все свое существование превращали в сущий кошмар. Поэтому, про то, что он в свое время стал крестным отцом новорожденного мальчика Никифора у Ефима и Даши Ненаших, ввиду душевной прихоти, или лучше сказать, назло надменным барам, для поддержания молодой пары новых холопов, которых в числе многих привез барин с севера, сейчас он не стал распространяться.

Тем более, Ефимская Дашутка своим молодым видом и лицом, напоминала ему безвременно ушедшую от него ласковую суженую. Бабы опять забежали, заохали, в четыре руки, как отца родного одели, Григорьевичу только шапку нахлобучить осталось и бадик взять в левую руку. Сашка и Никифор уже одетые стояли около двери. Вышли вместе, как можно проворнее, чтобы не остужать избы.

На дворе стояла тихая морозная январская ночь. Ночь была светлой от ярко светившей круглой луны, от разбросанных по всему небу мириадом звезд, которые были то яркими, то еле видными. Млечный путь опоясывал небо светлым поясом сияющих звезд. Ярко пылала Полярная звезда над ковшом Большой Медведицы.

– Вот, салаги, смотрите, по этим звездам мы с адмиралами Ушаковым и Сорокиным по морям в Европах ходили, – остановился через три шага от дверей и задрал голову вверх Григорьевич. Чтобы не упасть, опирался на руки ставших по обе стороны парней. – Ох, ну и ночка, хороша, черт её дерь. Ты Сашка молодец, что сохранил эту историю в тайне. И что сказано в избе, вам обоим и вашим родным советую не разглашать по деревне и округ неё. Внятно объясняю или как? – Уже совершенно трезвым голосом спросил парней Григорьевич. – Поняли, понятно, чего уж там... – вразнобой, но уверенно, за себя и своих родных отвечали Никифор с Сашкой, а далее в один голос спросили: – Ну, что, идём, Петр Григорьевич? – Пошли потихоньку, эх, зря я санки – то с вороным с барской конюшни не заказал, вернее, домчались бы. – Уже тише на полтона посетовал Григорьевич. Сашка, из-за выпитого и вновь открывшихся обстоятельств о найденных родственниках Григорьевича, почувствовал себя на миг вровень с положением управляющего и, твердо так, проговорил: – светиться Вам перед обществом в этом деле не надо. А дойти и так дойдём, да и скотину по такому морозу побережь не грех, – кивнул головой Никифору, они крепче ухватили под руки управляющего и зашагали по краям тропинки (по тропинке – то Григорьевич шёл) к избе Сашки-Зайца на самую околицу деревни. – Вам, видать, судьбой определено всю жизнь рядом друг с дружкой быть. Вот и старшина села Аннинского у меня недавно был. Сказывал, мол, вас двоих через месяц в рекруты забреют и что барыне хочет ходатайствовать за вас. Я дал добро. – Как размеренно шагал потихоньку, так размеренно и говорил Григорьевич, попеременно поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Сашка пожал плечами, что, наверное, означало, что против судьбы не пойдешь. Никифор, напротив, помолчав немного, сказал с затаённой тоской: – Что ж, раз надо значит надо. Мы согласны. Григорьевич притормозил чуть и остановился. Повернулся всем корпусом к Никифору, – Юни – то не распускай, у вас с Аринкой должна быть жизнь долгая и счастливая, поэтому весело смотри вперёд, а вот то, что я сейчас скажу, знать обязаны только вы двое и никто другой. Убедившись, что слушавшие его парни внимают ему также как и за столом, открыв рты, то есть внимательно, Григорьевич свободной рукой поднял им по очереди подбородки, чтобы те закрыли рты, и только затем продолжил, – не любят местные помещики, да и остальные чиновники наши, пришлых людишек, то есть немцев-иноземцев, да еще и не дай бог, что они вдруг будут умнее их. Эта нелюбовь пошла еще от Петра – Императора, когда иноземцу, будь он плох или хорош, оказывались высокие почести, а нашим богатым неучам кукиш с маслом показывали. А твоя фамилия какая, а Никифор? Ненаший. Вот ведь какую вредную фамилию твоему отцу дали наши помещики. Не наш твой отец Ефим был и ты не наш для них, а чужой. А он-то был сыном своего отца, твоего деда. А у деда фамилия была Рин. Хорошая такая фамилия, правда, французская. А почему твоему отцу фамилию поменяли? А? Отвечу, да потому, чтобы он был мужиком непомнящим своего родства. Твой отец и был таким, который ничего не знал и не помнил. Потому и сгинул ни за что, ни про что. Ты будешь знать всё про себя. Я так решил. Дед-то твой с Наполеоном, с войной, к нам в Россию пришел. Ну, так, после их побед над нами и у нас победы пошли над ними. А зима была ну такая вот, как и сейчас, морозная. А когда у нас зимы мягкие были. Да никогда. Сильно мерзнуть стали солдаты французские. Не по ним здешний климат оказался.

Да, многие тысячи французов утекло обратно в Европу. Нет, конечно, нам тоже доставалось и от зимы и от командиров наших и от солдат этих французских. Только мы русские, народ отходчивый. Когда солдаты наполеоновские ротами и полками в плен стали сдаваться, задумались наши командиры, а что с ними делать, все-таки люди тоже и не воюют уже ни с кем. И доложили обо всём батюшке – царю. А тот созвал совет, да и решили на нём, чтобы всем пленным в России оставаться и что порушили на земле русской, то восстановить за их счет и за их жизнь. А так как и своих нахлебников, то есть всю Россию – матушку, кормить надо, то определили пленным выдавать пансион из царских денег, за которые они и жить и питаться должны были, но только определенное время какое-то. А потом они уж работать должны были и сами себя прокармливать. Вот так и появился у чухонцев вольный поселенец. Фамилия у него была Рин, а звать – то, я и запамятовал, как звали его. Ну, а потом сошелся с одной крепостной, бабушкой твоей Еленой. О, вспомнил, как звали деда твоего, Лотом, а жену свою он Эленой звал. Точно. И это, скажу я вам, правильно, что их мужиков никуда не отсылали и не убивали, потому как наших – то мужиков и не осталось в волостях и деревнях. Почитай больше половины кормильцев на войны рекрутировали, а где и всех подряд. Половина там и полегла. Так – то вот. Ого, пока ляды точили и до твоей избы дошли, Сашка. Ну, хозяин, веди в свои хоромы. – Григорьевич остановился, кинул быстрый взгляд вдоль улицы и подтолкнул Сашку к дверям его скособоченной избы. Никифор после неторопливой ходьбы по ночной улице еле поспевал за Григорьевичем и Сашкой, так сноровисто они наподдали, спеша к дверям Сашкиной избы. Залетели в избу, как будто вихрь ворвался. Сашка мотнул головой Никифору, мол, помогай. Усадили Григорьевича в красный угол, под образа. Образа, хотя и освещенные в церкви, а малёванные самим Сашкой были. Была у пастуха дополнительная статья дохода, потому как, мог похоже изображать срисованное с картинки. Так, что отец Володимир частенько привлекал Сашку, вначале за одну только похлёбку поповскую, перерисовывать иконы, по его словам, делать копию. Григорич об этом знал точно, тем более от самого Сашки, поэтому, крестясь на образа, не удержался и хмыкнул. В избе было теплее, чем на улице, но очень прохладно по сравнению с Ненашенской избой.

Лизавета, прилегшая на печь с дочкой и маленьким сынишкой спать, так и не дождавшись Сашку с попойки, как она называла всяческие его улетучивания по поводу опрокинуть стаканчик, взметнулась с печи сразу же, как только стукнула входная дверь. Стоя на ногах, уже обутых в подшитые валенки и судорожно кутаясь в наспех накинутый на плечи толстый шерстяной платок, она в сумрачном свете качнувшегося огонька лучины вначале увидела Сашку, и хотела его отругать за столь позднее возвращение. Но с удивлением, и вдруг охватившем её всю тревожным ожиданием, увидела чисто одетого старого человека блеснувшего на неё пронзительным молодым взглядом и Никифора Ненашего, споро закрывавшего дверь за вошедшими. Молча, пребывая в недоумении, она наблюдала за устройством старого, но крепкого старика с белой бородой, за столом. За тем, с каким подобострастием её укрывальщик – Сашка бухнул на стол вытащенную из его секретных мест гарнец со спиртным и вытянул из печи маленький чугунок с разопревшей тыквой, который также поставил на стол. Расставил

глиняные кружки по количеству присутствующих взрослых людей. То есть и на неё, на Лизавету, оказалась кружка для питья. Она ещё ничего совершенно не понимала, а Сашка уже подталкивал её занять место за столом, по правую руку сидящего во главе стола старика. Усевшись на краешке скамьи, она подняла глаза на вставшего старика, который держал в правой руке уже наполненную неугомонным Сашкой кружку с самогонном. Тот говорил, что вот они и свиделись, дед и внучка, что она молодец, женщина с характером, как и её бабка Александра. Осознав вышесказанное, Лизавета от избытка чувств потеряла сознание. Очнувшись она в объятиях этого крепкого старика, который пересел на её лавку и теперь нежно поглаживал непокрытую голову Лизаветы своей огромной и грубой ладонью. Эта ладонь и эта ласка напомнила Лизавете неуволимо знакомое и щемяще-радостное настроение, когда она в детстве, наиг-

равшись в догонялки с детьми слуг в замке у бабушки Александры и устав так, что еле дышала, также сидела рядом с ней, а та нежно поглаживала ей голову и тихо напевала неаполитанские песни. Ощутив необыкновенный душевный подъем и пьянящую радость в груди и во всём теле, Лизавета коротко вздохнула и отстранясь немного от старика, преданно и с надеждою глядя на него, полувопросительно, полуутвердительно произнесла по – итальянски: – Так Вы мой дедушка Пьер? Григорьевич и в молодости слабо разбиравшийся в иностранной речи и сейчас бы ничего не понял из произнесенного, но так как слова были произнесены его внучкой, то голос крови помог ему понять, о чем она его спрашивает. – Да, да моя родная, да ясынька моя! – Воскликнул Григорьевич каким – то помолодевшим голосом, и поцеловал её в лоб. Всё также крепко прижимая к себе свою внучку, в другую руку взял отставленную при пересадке кружку и провозгласил: – Ну, стало быть, за встречу! – Чокнулись не вставая. Что было налито, то было выпито. Лизавета, уже очнувшаяся от пережитой радости встречи и узнавания, ласточкой летала между столом, печкой и кадучками с соленьями, добавляя к нехитрой выставленной закуске все имеющиеся у Сашки и неё запасы продовольствия. Плохого в мире много, но и хорошее тоже иногда случается. Понятное дело, при парнях, Григорьевич особо не расспрашивал Лизавету, а та наученная горьким жизненным опытом и вовсе молчала. Единственно длинную фразу в виде приказания Григорьевич выдал уже уходя: – Сашка поможешь Лизавете собраться. Лизонька, ты быстренько соберись сама и собери своих сорванцов, – и, предупреждая могущие возникнуть у обоих вопросы, добавил – ты с детьми переселяешься ко мне. К утру нового дня Лизавета с двумя детьми, стараниями своего деда и обеих провожатых, Сашки и Никифора, была препровождена в барской карете в чистенький, ухоженный, окруженный палисадником из полутораметрового теса, двухэтажный домик Григорьевича. Дом стоял на отшибе от барской усадьбы, за заснеженным пока, но очень большим и красивым весной и летом барским садом, на берегу спокойной реки Кариан. Из окон двух комнат, выделенных ей под житье, был виден поднимающийся от противоположного пологого берега реки смешанный лес, кронами деревьев достигавший вдали синего неба. Всю эту красоту Лиза обозревала после полуденного счастливого пробуждения, стоя в одной ночной рубашке и босиком на мягком персидском ковре около двойных рам, застекленных чистым прозрачным стеклом, с ватой между рамами, посыпанной сверху тонкими разноцветными полосками, нарезанными из конфетных фантиков. В маленькие переплеты окна било яркое зимнее солнце, и в небольшой комнате было светло и уютно, сердце окончательно растаяло от ощущения безопасности за себя и детей. За закрытой дверью слышался дробный мягкий перестук детских ног по ковровым дорожкам коридора, и тотчас дверь отворилась, и в комнату стремглав вбежала её старшая дочка. За ней в дверях показалась крупная молодая дворовая девушка, которая, потупив глаза и чуть склонив голову вниз, будто рассматривала рисунок ковра на полу и сложенные под грудами руки, тихонько сказала-пропела низким грудным голосом: – Доброго утречка, барышня. Чего изволите приказать? Лизавета, прижимая к себе дочку, смущенно произнесла: – Да детей вот покормить бы. На что девушка опять же протяжно пропела: – Так наш Григорьевич уже давно распорядился, общаться с Вами так же как с ним, Вы уж говорите, что вам надобно, а мы всё сделаем, а кушать, уж подано в столовой. Давайте, я Вам помогу одеться. Вот такая разговорчивая и добродушная девушка оказалась в распоряжении Лизаветы. – Да, будьте так добры, оденьте лучше детей к завтраку – подталкивая дочку к русской великанше, произнесла ласковым голосом, оправившаяся от смущения, Лизавета. Теперь, по окончании розысков деда, превративших её жизнь в кошмар, и все же закончившимися и для неё и её детей более или менее благополучно, во весь рост встал вопрос, каким именем назвать сынишку. И вроде бы прижитый со стороны не по своей воле и все-таки своя кровь. Лизавета решила не спешить и посоветоваться с дедом Пьером, к тому же бумаг, подтверждающих ее итальянское подданство и благородное происхождение, у нее пока не было. В столовой на первом этаже, которая от кухни была отгорожена тонкой дощатой перегородкой, также чувствовалось уютное

тепло двух печей-голландок, расположенных друг против друга в углах комнаты. В центре непритязательного, прямоугольного, сработанного грубо, но основательно, деревянного стола, на белоснежной льняной скатерти, уставленной столовыми приборами, стояла хрустальная ваза с живыми цветами. Это были красные и белые розы. Вошедшая вслед за дворовой девушкой, которая несла малыша в пеленках и держала за руку шестилетнюю Донату, Лизавета увидела розы и подумала с восхищением и душевной теплотой о вновь приобретенном родственнике, дедушке Пьере. А смышленная Доната тут же воплотила мамини мысли в слова: – Мама, мама посмотри, дедушка Пьер для нас цветы купил у цветочницы. Ух, какие они красивые! Лиза потрепала Донату по плечу и склонившись к её уху, произнесла: – Да, моя прелесть, да! – И спросила дворовую Любашу: – Любушка, дорогая, а где же среди ночи, зимой, наш, – и помолчав чуть-чуть, как – будто подчеркивая это слово, и давая понять всем, кто слушал их разговор, что дедушка Пьер это их и ничей другой дедушка, продолжила – наш любимый дедушка достал для нас эти цветы? На что Любаша простодушно ответила: – Да у барина в оранжерее, тут недалеко, за тыном, если желаете, могу проводить, показать. – Вот грациэ миллэ, душенька, спасибо тебе, мы подумаем, – закончила разговор Лиза и, без смущения своей католической веры, перекрестившись на православные образа, что находились в северном углу столовой с едва теплившейся лампадкой, подала пример Донате, присев на отодвинутый девушкой стул с резной спинкой и мягким атласным сидением, приступила к еде. Кушала и вспоминала длинную дорогу к деду Пьеру.

Али радовался наступившей свободе действий. Его отец, почтеннейший Юсуф-паша доверил своему старшему сыну командование отрядом кораблей и назначил выход в море для свободной охоты на завтрашнее утро. В отряде насчитывалось три парусника с командами матросов, состоящими из одних уголовных рож. Капитанами на них были такие же уголовные рожи, которых матросы этих трех посудин не просто уважали, но боялись ослушаться их распоряжений, как огня. Четвертым кораблем, переданным отцом в распоряжение Али, был быстроходный пароход «Элизабет» под командованием английского капитана Дрейка с английскими же матросами. Этот быстроходный гражданский пароход Юсуф-паша приобрел в аренду на один год путем таинственных махинаций, будучи вездесущим помощником губернатора города Бурсы, лежащем между северо-западными отрогами Улудага и плодородной долиной Нилуфер, тянущейся до южного берега Мраморного моря. А капитан Дрейк, в чьём теле бурлила кровь английских флибустьеров, в свою очередь, обязался выполнять все его поручения, с его, Юсуф-паши стопроцентной оплатой команды парохода, плюс двадцать процентов при дележе общего дохода при сбыте живого товара, будь то сомалийцы, эфиопы, другие южные народы, или народы Европы. Да и завтрашний день он, капитан Дрейк продал Юсуф-паше за весомый мешочек золота, прекрасно понимая, что самостоятельно ему, навряд ли, справиться с известным и богатым в деловом мире Европы молодым сорвиголовой Лучано Неаполитанским. Вчера для капитана Дрейка человек из итальянского военного конвоя, подкупленный людьми Юсуф-паши, тайно отсемафорил донесение постоянно дежурившему посту турок на острове Имралы, в котором сообщил время стоянки парусника Лучано в порту города Стамбула и время убытия из порта. В конце донесения указал цель движения парусника Лучано – русский военный город Севастополь на северном побережье Черного моря и предупредил, что в открытом море их военный кораблик сломается. Так что парусник Лучано останется без прикрытия. Весь этот расклад капитан Дрейк объяснять Юсуф-паше не стал, а заверил его, что уничтожение этого судна и его заклятого врага Лучано Неаполитанского, который вел непримиримую борьбу с пиратами всех мастей в Средиземном море, а также поднял свой голос против рабовладения, будет правильным, если нападение произойдет в нейтральных водах Черного моря. По заходу солнца Юсуф-паша благосклонно выслушал капитана и после продолжительных совместных водных процедур в дворцовой бане и бассейнах с горячей и холодной водой с соответствующим возлиянием «сладких» напит-

ков и поеданием жирного обильного плова на прощание похлопал Дрейка по плечу, показал на появившийся, будто – бы из воздуха, на столике мешочек с золотом, и наклонившись к самому уху Дрейка, на прощание прошептал: – Будешь лучшим из лучших, если сделаешь так, как сказал. Но командовать будет мой любимый Али. Настало утро, не выспавшийся Али с радостным нетерпением к предстоящему походу за новыми рабами отпихнул белоснежную руку женщины, до сего момента покоившуюся на его обнаженном бедре, отчего разбуженная красавица с презрением в душе, но покорным видом, отодвинувшись от ночного хозяина, подтянула атласное одеяло к подбородку и тупо смотрела перед собой. – Воды, джальяб, и передай, чтоб накрыли стол, – вспомнив ночные, пьяные любовные неудачи, Али ударил женщину по руке – и быстрее! Громкий крик на последнем слове перешёл на визг. Али, лежа в постели, наклонился к краю и сполоснул волосатые с тыльной стороны ладони, провел ими два раза по лицу, принял протянутое полотенце и вытерся им. Бросил скомканное полотенце в лицо женщине, та не уклонилась, приняла его лицом, развернула, сложила повдоль и повесила себе на плечо. Вот если бы Али ударил женщину – рабыню по лицу, то узнавший об этом его отец мог бы выслушать рабыню, которая ничего не смогла бы скрыть, да и не скрывала бы про неподобающее истинному правоверному разухабистое гуляние с гяурами, хотя бы и союзниками и оставить его без своего хорошего отношения. А хорошие отцовские отношения сыну ой как были нужны, потому как на пятки наступали подрастающие детишки отца, желающие и себе такие же хорошие отношения, какие были у Юсуф-паши с Али. Хоть и с сильнейшего перепоя, и отвратительным выхлопом изо рта, как будто там всю ночь провело стадо мазандаранских ишаков, не обращая внимания на стоявшую в комнате молодую женщину, голый Али, прыгая на одной ноге, потом на другой, одел шелковые, широкие и длинные штаны – дзагшин. Натянул на немытые ноги верблюжьи носки – чорабы, обул красного сафьяна широкие сапоги, медленно, ища руками рукава, пропустил через голову муслиновую рубашку с длинным рукавом, обвил мускулистый живот, укрытый рубахой, красным кушаком, ввиду прохладного утра одел меховую безрукавку и, взяв в левую руку прошитую золотой нитью красную феску, собрался выходить в столовую. Недовольно повернул голову в сторону рабыни: – Пошла к себе. Женщина поклонилась, развернулась прочь и неторопливо пошла на женскую половину дома. Али, откинув дверную занавеску, прошел к уже накрытому столу. Оторвал маленькую кисточку темного кишмиша, положил в рот несколько упругих ягод, раздавил зубами, сладко – кислый вкус жидкости наполнил полость рта и горло наслаждением и избавлением от запахов помойки во рту. Присел на стул, тут же молодой болгарский раб подал горячую сковороду на подставке с омлетом, заправленным болгарским перцем и красными помидорами, в стоящую рядом пиалу налил до половины крепкой черной заварки и чуть разбавил холодным молоком, подвинул тарелку с кусочками брынзы и тарелку с кунжутной лепешкой. На глазах хозяина еще раз протер чистым полотенцем ложку, вилку, нож. Это уж от хозяина зависит, чем он будет кушать, руками или столовыми приборами. Али оторвал кусок лепешки, взял в руку вилку, как научил Дорик Дрейк, но передумал, бросил вилку на стол, теперь отщипнул виноградную ягодку чауш белого. «Да – а – а, это полная нирвана», – подумал Али, откинулся на спинку стула, затем встряхнулся и начал сосредоточенно жевать всё, что стояло на столе, прерываясь на запивание еды горячим чаем. От селения Кыйыкой, в котором вот уже неделю отдыхали капитаны пиратской эскадры Али Юсуфзаде, до бухты на побережье Черного моря со стоящими в ней кораблями на якорях было примерно четверть времени пешего дневного перехода, то есть, совсем рядом. Поэтому Али не спешил, прямо во время завтрака отправил слугу к капитанам Рахиму, Абдулле, Энверу и Дрейку с сообщением о немедленном возвращении на суда и подготовке их к выходу в море. Феску оставил на столе, ничего ей не делается, слуги уберут на место. Сам одел широкий непромокаемый плащ, нахлобучил на черную шевелюру зюйдвестку с большими полями, давно подаренную Дрейком, и вышел во двор. Погода стояла мрачная дождливая, со свежим восточным ветром. Подкатили два фазтона с закры-

тыми сверху кожаными пологам. Фэтонщики, нахохлившись под дерюгами, будто вороны, притормозили, а затем и вовсе остановили экипажи перед Али. Али поздоровался взмахом руки с сидящими во втором фэтоне своими капитанами, затем ловко залез в первый и приветствовал сидящего там рыжеволосого английского капитана, могучего телосложения тридцатипятилетнего мужчину по-европейски, пожатием рук, устроился поудобнее, толкнул фэтонщика кулаком в спину. Экипажи тронулись с места. Молчали всю дорогу под чавкающие звуки выдираемых лошадьми копыт из раскисшей дорожной грязи и то усиливающийся, то уменьшающийся шелест мелких капелек нудного затяжного дождя, безостановочно ударяющих по пологу фэтона. Да и о чем было говорить, если все планы и действия были оговорены по несколько раз вчера на пирушке. По прибытии в гавань дождь прекратился, и в разрывы низко висящих туч проглянуло солнце. – О, сей знак свыше, к удаче, – возбужденно вскричал Дорик, энергично прыгивая на землю, – вперед, по кораблям, выходим в море, так повелел командующий флотилией, Али Юсуфзаде, – добавил Дрейк, вспомнив, о чем предупреждал отец этого молодого мерзавца. Капитаны еще не ступили на палубы своих судов, а боцманы уже раздали тумачов рабам – гребцам и приказаний морякам на подготовку и постановку парусов. Засуетились команды палубных матросов, полезли тараканами по такелажу марсовые, старшие помощники встретили капитанов у веревочных трапов, боцмана скомандовали поднимать разъездные шлюпки на палубы, надсмотрщики выводили гребцов – рабов из сна ударами плетей. Под яркими лучами утреннего солнца вспыхивали сероватые пятна парусов, грохотали якорные цепи, наматываясь на огромные катушки, шум воды, стекающей с звеньев цепи, совершенно терялся в громких криках команд капитанов, боцманов и надсмотрщиков рабов. Две калиты, одна шебека и английский пароход – это была грозная сила на море. Быстроходные калиты имели на вооружении две пушки, носовую и кормовую, шебека – восемнадцать пушек, ну а уж англичанин все тридцать шесть пушек. На каждом судне было сосредоточено по два с половиной десятка добровольцев – янычар, которые безбашенно шли на abordаж захваченного судна, яростно уничтожая сопротивлявшихся противников всеми видами оружия, вплоть до укусов зубами. Дрейк с Али поднялись на капитанский мостик парохода, скинули дождевики на руки малолетнему чернокожему стюарду, уселись на принесенные матросами из капитанской каюты два кресла и в оставшееся время до начала движения судов молча осматривались вокруг по акватории бухты, по туманному берегу, по копошащимся на судах фигуркам матросов и рабов. – Бой, два кофе сюда! – прорычал Дорик, едва голова чернокожего мальчишки появилась на трапе капитанского мостика. Тот ссыпался обратно в каюту капитана готовить кофе. Боцман, по команде Дорика, снарядил палубного матроса за раскладным столиком. Едва только он был установлен у кресла капитана, на него тотчас стюардом были поставлены чашки с горячим черным кофе, до половины налитые и исходящие неповторимым ароматом этого божественного напитка. Стюард с белым полотенцем на полусогнутой руке застыл маленьким изваянием позади кресла капитана. – Ну что, уважаемый Юсуфзаде, – льстиво величая командующего флотилией Али по фамилии, Дорик поставил опорожненную чашку на столик и указал на корабли, закончившие подготовительные работы к выходу в море, – настала пора выдвигаться на охоту. – Да, вперед! – откликнулся, вполне пришедший в себя после отвратительного утра, Али. Согласно разработанной Дрейком и утвержденной Али диспозиции, шебека Энвера движется запереди идущим пароходом, калиты Рахима и Абдуллы, посланные вперед на отыскание корабля итальянца, при визуальном контакте с парусником Лучано расходятся вправо и влево, захватывая жертву в клещи, а пароход с ускорением сближается с нею же. А когда окруженному кораблю деваться будет некуда, вступают в дело янычары. Зоркие глаза стервятников моря, Рахима и Абдуллы, все-таки высмотрели знакомый силуэт парусника в открытом море. Это вам не вдоль берегов пиратствовать, где лишь ленивому не везет. Здесь только опытный глаз, быстрота и слаженность работы всей команды могли обеспечить исполнение распоряжений Али – паши. Прошло немного времени после полудня

и «битья Рынды», то есть было отбито на корабельном колоколе парохода три тоекратных удара, когда за горизонтом впередсмотрящий парохода заметил черный дымовой сигнал, который подавала ушедшая туда калита Абдуллы, обнаружившая парусник итальянца. – Прибавить ход!», – крикнул в раструб, соединяющий капитанскую рубку с машинным отделением, Дрейк и подмигнул Али, – готовься к схватке паша. Через некоторое время...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.